

«МИТИНА ЛЮБОВЬ»

Рассказ

1

Твои друзья, сплошь зубоскалы да насмешники, делали и тебя похожей на них. Впрочем, ты к этому сама стремилась. Я устал возражать, слыша от тебя повторяемую на разные лады сентенцию, будто в современном обществе без острого языка не проживешь. Твои доводы были смехотворны, твои речи пусты, тем не менее мне ничего не оставалось, как тоже начать зубоскалить и ехидничать; не потому, что болезнь была заразной, и не из-за того, что я хотел хоть в чем-то походить на этих обаятельных хамов, на этих проворных воришек чужих шуток и глубокомысленных фраз; мне пришлось брать с них пример единственно потому, чтобы тебе понравиться. Возможно, я был малодушен, вдобавок глуп, но я был молод, неискушен и попросту не видел другого выхода.

Задача оказалась не из сложных. Походить на кого-то, кто сам пытается кому-то подражать, только поначалу было занятием противным, а после я понял: образец то далеко и нам неведом, что само по себе делает невозможным любое сравнение, и, стало быть, у каждого есть право вести себя так, как ему заблагорассудится, пусть и в пределах отдельно взятой компании.

Несмотря на мои заметные успехи по части мимикрии, своим в твоей компании я так и не стал. Причина лежала на поверхности: я всегда помнил, что играю лишь ради тебя, тогда как они, подозреваю, даже спать ложились в театральных масках. И вот стоило мне только оказаться в их обществе без тебя, как я тотчас становился самим собою, в сущности честным и добрым малым, и сразу, беспомощный, бывал атакован с разных сторон то язвительными замечаниями, то откровенной грубостью. Не вдаваясь в подробности, замечу лишь, что был образцово терпелив, скуп на слова, сдержан в жестах. Наверняка многие из них спрашивали себя, почему терплю, почему не взрываюсь в ответ на очередную колкость. Знали бы они, какой хрупкой конструкцией были наши с тобой отношения! Как носилась ты с идеей духовного родства «компанейщиков»! Попробуй тронь кого-нибудь! А мне между тем часто представлялось: выбрав среди нападавших, как учил меня тренер по боксу, самого тщедушного, в данном случае Савелия Фукса, я наношу ему удар в челюсть, согласно наставлениям того же тренера, чуть сбоку и снизу, чтобы сразу вывести противника из боя и психологически подавить остальных...

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в марте 1965 года в Ленинграде. Работал инженером, экскурсоводом, журналистом, сейчас работает редактором в телекомпании «Петербургское телевидение». Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Крешатик», «Зинзивер», «Северная Аврора» и других. Рассказы переводились на сербский язык. В 2015 году вышла в свет первая книга — роман «Пятый Собор», в нынешнем году вторая — сборник рассказов «Считая до ста». Член Союза писателей России с 2011 года.

Раз уж я упомянул Савелия Фукса, то своим забавным сочетанием имени и фамилии он был обязан смешению немецкой и еврейской крови, хотя, на мой взгляд, достаточно было бы и какой-либо одной. Его отец, как раз немец, служил дипломатом в Европе (говорю столь неопределенно, поскольку на дипломатической ниве он сменил несколько стран и все были европейскими), а мать Савелия, Фаина Савельевна, всегда сопутствовала мужу. В отличие от отца, Фаина Савельевна изредка навещала сына, неизменно, хвала ее воспитанию, сообщая о дате своего визита. Тогда, и только тогда Савелий начинал приводить в порядок, как он считал, свое богемное жилище, заодно выпроваживая на указанный мамой срок всех блестящих друзей и неотразимых подружек. В остальное время они были полными хозяевами огромной трехкомнатной квартиры, которая всеми окнами выходила на Кутузовскую набережную, откуда, даже при закрытых окнах, тянуло свежестью от Невы. Единственная просьба, с которой хозяин обращался к гостям, звучала так: «Я не против ора, но орите по очереди». Сам шумный, будь то на улице, в кафе или в театре, Савелий с трепетом относился к тишине в собственном доме. Объяснял он это следующим образом: с дореволюционных времен здесь жили немецкие купцы Фуксы, люди почтенные и размеренные, а раз так, делал неожиданный вывод их потомок, то и теперь необходимо соблюдать заведенный уклад жизни. Он так часто об этом говорил — то ли подчеркивая значение квартиры, то ли древность своего рода, то ли просто пестуя собственную причуду, — что вскоре мы стали говорить: пойдём к Фуксам, как бы подразумевая сразу всех Фридрихов, Густавов и прочих Иоганнов, кои имели честь носить славную купеческую фамилию.

Я редко бывал у Фуксов, так как не принадлежал к элите компании, куда, помимо Савелия, входили (привожу их прозвища, дабы простота их фамилий, скажем Копейкин или Носов, не вступала в противоречие со звучностью слова «элита»): Врубель, Дон Кихот, Маэстро Вальс, Циркач, Рюрикович, Госпожа Фабула, Прекрасная Незнакомка, Любовь с Первого Взгляда и иные, но уже менее заметные персонажи.

Итак, не будучи своим у Фуксов, со всеми перечисленными выше я встречался преимущественно в нашей «штаб-квартире». Так мы называли обыкновенную чебуречную, где были отвратительное пиво и замечательные чебуреки. Однако привлекала нас отнюдь не тамошняя кухня. Своеобразное чувство смешного, свойственное всей компании, но в первую очередь Рюриковичу (это было его подлинное отчество) и его верной спутнице Госпоже Фабуле, наиболее полно проявлялось как раз в чебуречной. Их несказанно забавляли социальные контрасты, а именно присутствие нашего благородного общества среди людей простых, пьяных и зачастую грязных, кроме того, в той убогой обстановке, которая была бесконечно далека не только от дома Фуксов, но даже от скромных удобств какой-нибудь кафешки. Здесь, примерно в равном числе, были представлены круглые стоячие столики для публики без претензий и столики, за которые могли присесть имевшие хоть какое-нибудь представление о комфорте. Мы сдвигали по три, по четыре столика в ряд, в зависимости от того, сколько нас собиралось, и обыкновенно Фукс выкрикивал своим слегка визгливым голосом: «Человек, обслужите!» И хотя официантов тут не было, к нам немедленно подходили, иногда спешили сразу двое, кто быстрее, чем вызывали залпы смеха из всех наших орудий. Их спешка объяснялась просто: чаевые, которые в чебуречной никто, кроме нас, не давал, оправдывали в глазах прислуги взаимные толчки и подножки. Наблюдая за их соревновательным пылом, Рюрикович дергал щекою, обнажая зубы и выдыхая — хэ! — это заменяло ему, не умевшему смеяться, разом и смех, и улыбку. То, что он выражал лишь мимикой, его подруга облакала в словесную форму. Госпожа Фабула, ибо «фабула» было ее любимым словом, писала небольшие ироничные рассказы, подражая Тэффи, и, конечно, сценки в чебуречной служили ей беско-

нечным источником для творчества. От этих ее «скудоумных официантов», «растяп уборщиц», «продавцов с лицами-чебуреками» меня воротило настолько, что я предпочитал выпить подряд несколько кружек пива, чтобы уже не замечать ее пошлейших литературных опытов.

Ты тоже, я видел, была в «штаб-квартире» не в своей тарелке, правда, по другой причине. Тебе не нравился не столько стиль нашего поведения, сколько отталкивал собиравшийся здесь народ. Ты морщилась, наблюдая за пьяницей, который, вывалив на стол мелочь, подсчитывал, хватит ли у него на пиво, ты отворачивалась при виде поедающей чебурек нищенки, но ты сейчас же начинала смеяться, услышав скабресную шутку кого-нибудь из наших.

Однажды Дон Кихот, всегда печальный, всегда немногословный и действительно очень похожий на героя Сервантеса, заметил, что ты почти не пьешь пива, и предложил тебе, шутки ради, осушить одним махом две кружки. Все сразу радостно загалдели в предчувствии веселой забавы. Я отговаривал, зная, что ты физически не можешь этого сделать. Но что значили мои слова в сравнении с мнением столь любимой тобою оравы! Они только подначивали: «Идешь на рекорд!», «Да здравствует женский алкоголизм!», «Назло скептикам!»

Затем я вез тебя домой, бледную, со слезящимися глазами, и ты даже не жаловалась, поскольку и слова вымолвить не могла. Когда мы вышли на конечной станции метро, ибо, в отличие от Врубелей и Прекрасных Незнакомок, ты жила не в центре, а на окраине, — тебе стало легче, по крайней мере, ты уже была в состоянии разговаривать, правда, слабым и медленным голосом. Однако, как только я предложил подняться к тебе и сварить для тебя кофе, голос сделался в точности таким, каким ты всегда отказывала мне при малейших попытках сближения. Да, раз за разом я слышал одно и то же: отчасти насмешливое, отчасти игривое возражение, дескать, я еще слишком юн, что где-то для меня уже есть другая, моложе меня, наивная и чистая. Я настаивал на обратном: именно ты, моя ровесница, со всеми твоими выкрутасами и цинизмом опытной женщины (о чем тебе время от времени было приятно говорить или от кого-нибудь слышать), именно ты нужна мне.

Слово «люблю» было в компании под запретом как архаичное и вызывающее только смех. Одной лишь Прекрасной Незнакомке (этакий ошибочный симбиоз Крамского с Блоком) дозволялось упоминать о любви, да и то исключительно потому, что в ее устах сакральное низводилось до прикладного. Я слышал, как она говорила «люблю опохмеляться с утра» или «люблю два дня голодать, а потом нажраться до отвала», — и с той же легкостью она могла сказать «люблю одна бродить по Эрмитажу, чтобы был вечер, чтобы залы были пусты», а то вдруг начинала читать наизусть Цветаеву, Пастернака, Бродского... Вообще, она была резка в словах и манерах, стриглась по-мальчишески коротко, носила исключительно джинсы и внешне очень походила на лесбиянку, хоть таковой и не была. Прозвище свое, как понимаю, получила она не благодаря, а вопреки, поскольку сложно было бы найти девушку, во всем столь противоположную Прекрасной Незнакомке. Как это было похоже на наших острословов — глумиться над высоким, выворачивать мир наизнанку!

Из всей компании Прекрасная Незнакомка была наиболее близка с Врубелем. Чем только не занимался этот высокомерный молодой человек! С детских лет родители водили его в музыкальную школу, на художественные курсы при Русском музее, в танцевальную секцию и кружок литературного мастерства. Словом, из него хотели вылепить всесторонне развитую личность. В итоге же получился гаденыш со змеиным жалом взамен языка, чьи познания сводились к расхожей формуле — обо всем понемножку. У Фуксов, и только там, он имел привычку напиваться и тогда, дождавшись тишины, барским жестом вскидывал руку: «Врубите музыку!» Из-за этого, кстати,

и был Врубелем, а еще потому, что, не будучи похож на Демона внешне, свою демоническую сущность даже не пытался скрывать.

Там же, у Фуков, еще не достигнув стадии «Врубите!», он начинал травить меня ядом сплетен, слухов, сногшибательными новостями из мира искусства, с тем чтобы, обнаружив мое незнание, тотчас возвысить голос: «Как, вы не читали?.. А впрочем, чему удивляться, вы же, собственно, только телевизор смотрите». При всяком разговоре с ним звучавшая внутри меня фраза — мелкая тварь, без друзей, без любви — служила прекрасным противовесом от его укусов. У тебя, однако, такой защиты не было. Он знал, что тебе нечего противопоставить его поверхностной образованности и показному лоску, приобретенным на курсах и в секциях и отточенным в салонных беседах, и потому он накидывался на тебя как на легкую добычу. Отчасти ты была виновата сама, ведь тебе очень хотелось соответствовать этому «блестящему обществу». Врубель же, тот вообще выглядел в твоих глазах едва ли не идеалом светского человека. Когда — по привычке закинув ногу на ногу, так что острая коленка оказалась на уровне его подбородка — он наговорил тебе каких-то гадостей и ты бросилась на балкон, я вышел следом. Ты плакала, а все-таки молчала о нем, ругая лишь себя. «Он сволочь», — сказал я и обнял тебя за плечи. Но ты скинула мои руки, иначе, видимо, тебе было затруднительно говорить о том, какой удивительный человек Врубель, как много он знает и какие мы все неучи по сравнению с ним.

Я вернулся в комнату. Он по-прежнему сидел в своей излюбленной позе, только теперь с бокалом вина в расслабленной руке. Первым делом упал и разбился бокал, затем острая коленка уперлась мне в грудь, когда я приподнял его за лацканы пиджака и хорошенько потряс. Избежать нокаутующего удара ему удалось лишь потому, что я успел заметить его насмерть испуганные глаза и подумал, что с него хватит. «Отличный номер», — произнес Циркач, недолюбливавший Врубеля. И хотя сцена наверняка позабавила многих, от дома Фуков я был на время отлучен. «Дикость не приветствуется», — изрек Савелий Фуко. А ты при следующей нашей встрече в «штаб-квартире» демонстративно пересела от меня на другой край стола.

И все-таки я был рад, что, пускай и не до конца, последовал совету своего тренера. Да и Врубель разительно изменился: он оказался настолько труслив, что стал обходить стороной нас обоих. Даже когда ты пыталась заговорить с ним, он под любым предлогом избегал общения.

2

Между тем компания собиралась в театр. Поначалу Циркач, чье прозвище объяснялось тем, что в свое время он пытался поступить в цирковое училище, а теперь у Фуков развлекал публику жонглированием, предлагал идти на гастролирующий московский цирк. Однако проведенное в чебуречной голосование выявило явное превосходство тех, кто предпочитал сценическое искусство всякому другому. Выбор пал на ТЮЗ, чему я совсем не удивился, потому что скучающее общество нуждалось в увеселении, а вовсе не в том, чтобы следить за ходом драматического действия. «Вчерашний век», — высказался Рюрикович о театре, после чего Циркач, пожалуй, самый бесхитростный «компанейщик», задал уточняющий вопрос: «В смысле?» — «В свете», — захлопнул Рюрикович калитку разговора.

Не помню ни названия спектакля, ни его фабулы (о том лучше спросить у соответствующей госпожи), зато, как сейчас, вижу на сцене музыкальный ансамбль человек из пяти-шести. Скрипка, кларнет, что-то еще, но главное, контрабас, на котором — большое и маленькое рядом — играл человек в полосатом трико и котелке, что по неприхотливому замыслу режиссера должно было наилучшим образом отражать

эпоху Серебряного века. Игралы они негромко, отчего Рюриковичу не составило труда их переключать: «Смотрите!» Но прежде, с грохотом отодвинув театральное кресло, он поднялся во весь свой далеко не маленький рост, чем сразу привлек внимание почтеннейшей публики. «Смотрите! Вон гомосексуалист!», — ревел он и показывал пальцем на сцену. «Где, не вижу, где?», — поддержали его на все голоса сидевшие рядом «подготовленные зрители». Тут уж весь зал, позабыв о спектакле, стал высматривать человека с нетрадиционной ориентацией. Рюрикович пришел им на подмогу: «Вон, вон, в контрабас полез!» Компания покатывалась со смеху. Собственно, ради этого они и пришли, зная способность товарища к экспромтам. Способность пробуждалась в нем, как он любил выражаться, под влиянием значительных массивов людей.

В зале поднялся шум: кто-то возмущался, кто-то хохотал, а большинство, похоже, восприняли случившееся, в том числе прекративших играть и застывших в растерянности артистов, как часть театральной постановки. Только когда забежали между рядами озабоченные зрительницы, а позже появились охранники, даже до самых непонятливых дошло, за какие пределы эксперимент в театре пока еще не выходит. Под возмущенный гул Рюриковича стали выводить из зала. Чувствуя неослабевающее внимание к собственной персоне, он продолжал лицедействовать: «На сцене гомосексуалист! Осторожно, в зале дети! Оградите их от извращенца!» Вслед за главным героем потянулась и вся компания. В их дружном «Мы вместе» я слышал, в отличие от непосвященных, лишь желание продлить этот прелепелый вечер. И я шел не за ними, а за тобой, как шел всегда, в какое бы сомнительное место ты ни направлялась.

Нас отпустили быстро, прежде всего, благодаря нашему шумному многолюдству, когда легче открыть засовы, чем терпеть толпу, где каждый если не острит, то хохочет во все горло. Я хотел идти с тобой, но ты упорно держалась Фукса. Он был улыбочив, словоохотлив, похоже, ему доставляло огромное удовольствие вновь и вновь переживать устроенное в театре бесчинство. До меня долетела неожиданная фраза: «Сжечь театр», — могу только догадываться, что он имел в виду. Каким бы покинутым я в тот момент себя ни чувствовал, я был уверен, что у этого эгоиста и мысли не возникнет тебя проводить. Мне оставалось всего лишь держать вас в поле зрения...

Я был не в состоянии объяснить причину, почему меня тянет к Рюриковичу (отчасти и к Фуксу, но в меньшей степени). Временами он просто завораживал, временами отталкивал, но даже тогда оставался мне интересен. Быть может, в нем были те качества — самоуверенность, бесшабашность, умение взглянуть на ситуацию отстраненно — да, скорее всего, последнее — те качества, которых не доставало мне. И всякий раз, когда он начинал разговор, у меня было ощущение, что обязательно надо задавать вопросы, уточнять, слушать — и тогда откроется секрет его обаяния, его странной власти надо мною.

Мы шли с ним довольно долго, как вдруг я заметил, что никого из компании рядом нет. У меня не было ни малейшего представления, когда смолкли знакомые голоса, куда улетел последний смех, куда исчезла ты — или все это произошло одновременно?..

Кругом глыбы домов, яркий свет рекламы, потоки машин — это был Владимирский проспект, мы уже приближались к Невскому. Рюрикович предложил зайти к нему — «тут рядом», — и я, растерянный от непонимания, где же пребывал в течение битого часа, с ненужной поспешностью согласился.

Он жил на улице Маяковского, в большом, но лишенном всякой индивидуальности доме, без обыкновенных для Питера эркеров, лепнины, даже без балконов. Двухкомнатную квартиру он делил с отцом, между прочим, прокурором района. Однако обстановка здесь была явно не прокурорская — в том смысле, что человек столь высокого ранга мог бы позволить себе и более дорогую мебель, и хороший паркет, и стеклопакеты, и все прочие блага бытового комфорта. «Не берет взяток», — в своей ла-

коничной манере пояснил Рюрикович. Мне никогда не удавалось понять, шутит он или говорит серьезно, наверное, он и сам этого не знал. Тем забавнее было его слушать да еще наблюдать, что рот у него всегда чуть приоткрыт, что звуки он извлекает без помощи губ, и оттого слова как будто рождаются в нем самом и выходят наружу округлыми, точно отполированная водой галька.

Мне хватило непродолжительного общения, чтобы понять, что в этом, и только в этом состоит его тайна. Ха, всего лишь звукоизвлечение! Он музыкальный инструмент, пусть редкий, даже редкостный, но — инструмент!

Все остальное было прозаичным. Он рассказал о своей школе, о том, что в былые годы там учился его кумир Даниил Хармс, мы полистали старые фотоальбомы, посмотрели скачанный в Интернете фильм — «зрелище колоссальное» — ни зрелища, ничего колоссального я не увидел. Напоследок он сказал, что я не нужен тебе, что ты принадлежишь Фуксу, мало того, ты сейчас у него дома, а он, Рюрикович, общаясь со мной, обеспечивает им прикрытие.

Не скрою, мне было больно его слушать, но я уже знал — он скрипка, кларнет, он контрабас — и от этой мысли становилось немного легче.

«Глупо обижаться. Лучше знать правду», — уже в дверях произнес он. «Фильм был говно. Это тоже правда», — парировал я округлыми словами, пародируя его манеру.

Следующие дни я не расставался с плиткой мобильного телефона, без усталости набирая твой номер. Ты не отвечала, и чем дольше это продолжалось, тем становилось тревожнее. В конце концов я поехал к тебе домой, но открывшая дверь твоя старшая сестра заявила, что ты взрослый человек и не отчитываешься перед нею. Ее спокойствие только утвердило меня в том, что сестре известно, где ты находишься, а именно в безопасном, надежном месте, каковым, вне всякого сомнения, был дом на Кутузовской набережной.

Туда, к Фуксам (именно во множественном числе — так я изгонял дух хозяина из его обители), я отправился, совершенно не представляя своих дальнейших действий. Существовало, собственно, четыре варианта: ты была там в гостях; ты была там и спала с Савелием; ты уже уехала оттуда; ты там и не появлялась. Решить, по сути, математическую задачу можно было либо экспериментальным путем, либо, как в школе, воспользовавшись подсказкой.

Ты позвонила, когда я находился на полпути к Фуксам, и нашептала в телефон верный ответ, совпавший, к моей радости, с четвертым вариантом. Как выяснилось, ты была у подружки, в дачном поселке Вырица, настолько удивительном месте, что среди его сосновых лесов, окружавших реку Оредеж, мысль о связи с внешним миром представлялась едва ли не вооруженным вторжением в охраняемую заповедную зону. Твои доводы были, пожалуй, убедительны... Однако как быть с Рюриковичем, с его утверждениями, с его ухмылкой?

«Рюрикович сплетник. Всегда его не любила», — заявила ты на следующий день, после того как я поведал о разговоре на прокурорской квартире. Мы сидели во дворике, куда нас любезно пригласил кто-то невоспоминаемый, отворив и придержав дверцу металлической ограды, так что отказаться от приглашения было бы крайне невоспитанно.

Мне хотелось спросить: «А Фукс, что ты скажешь о нем?», — но я все-таки промолчал, подумав, что, сверх известной информации, любая другая будет чрезмерной. Да и как могло быть иначе, когда ты была ласкова и нежна, шутила мягко, без прежнего сарказма, и вся переменялась ко мне, будто воздух Вырицы обладал какими-то чудодейственными свойствами.

Тот день остался в памяти подробностями, казалось бы, совершенно непримечательного дворика: ворона, взгромоздившись на макушку единственного здесь дерева, выглядела как наверхие новогодней елки; в продолжение той же темы воробья каза-

лись елочными украшениями, прищепленными к веткам; сидевшая напротив девушка с голеньким младенцем на руках склонила к нему голову... У меня перехватило дух от поразительной схожести сюжета, от его невозможности посреди стиснутой домашней площадки...

Мы стали видеться с тем постоянством, когда достаточно одного пропущенного звонка, одного мимолетного видения, одной невысказанной мысли — чтобы уже вскоре быть рядом, словно только так мы могли подтвердить существование друг друга.

3

Обыкновенно встречались мы у метро «Ломоносовская», то есть как раз посередине между твоим и моим жилищем. Оба безлошадные, мы добирались на общественном транспорте; твоя остановка была напротив моей, и, бывало, выйдя каждый из своего автобуса, мы махали друг другу с разных сторон улицы. Почему-то этот незатейливый ритуал доставлял нам удовольствие сродни детскому восторгу. Чаще первым приезжал я и тогда располагался возле входа в метро, где была металлическая ограда, к которой можно было прислониться, и был выложенный плиткой выступ, куда, если ты задерживалась, я садился, закуривая сигарету. Усталости я в те дни не знал, наоборот, от ожидания предстоящей встречи не мог долго оставаться на месте и, едва присев, начинал снова расхаживать, обращая внимание лишь на номера появившихся вдали автобусов.

Из-за того, что волновался и вдобавок желал выглядеть оригинальным, у меня не получалось бросить легкое «Привет!» или что-нибудь иное в том же духе. Вечно я мучился, подбирая подходящую для встречи фразу, и всегда придумывал нечто до крайности громоздкое, так что при твоём появлении запутывался в словах и, разумеется, выглядел полным идиотом. Поначалу тебя это веселило, но затем ты привыкла и однажды совершенно серьезно сказала: «У тебя такая интересная манера начинать разговор». Да, черт возьми, именно манера! Что же еще? Ты ведь много раз имела возможность убедиться, как любовное косноязычие превращается в любовное красноречие, стоит мне только прийти в себя после первых волнительных минут...

Напротив метро, если перейти улицу, находилось скопление мелких магазинов. В том, с какой чрезмерной яркостью они были оформлены и как хаотически разбросаны по участку — один лез вперед, другой выпирал углом, третий прятался за соседом, — легко читалась вся их история: к первому, без разницы чем там торговали, прилепился следующий, к тому еще один, и так в течение многих лет, пока естественные причины, а именно стоящие слева и справа жилые дома, не прекратили этот торговый бум, напоминавший процесс размножения клеток.

Ты любила заходить в какой-нибудь парфюмерный магазин, бродила там меж стеклянных шкафчиков с флаконами духов, тюбиками помады и прочим остропахнущим товаром, от чего у меня, с детства склонного к аллергии, временами перехватывало дыхание, и я вынимал платок, прикладывая его к лицу. Особенно тяжело мне приходилось, когда ты просила оценить, хорош ли тот или иной запах. Но ради тебя я готов был вытерпеть что угодно!

Мне же по душе пришла антикварная лавка, расположенная чуть в глубине от красной линии выстроившихся в ряд магазинов. И если в парфюмерном ты завела знакомство с продавщицей Инной, которая любезно отвечала на все твои вопросы, то в лавке я сошелся с ее хозяином Марком Борисовичем. Он обладал вкрадчивым, как ты определила, «антикварным» голосом и еще одной удивительной особенностью: рассказывая о старинном предмете, он сам как будто становился человеком из той эпохи, откуда происходил предмет.

По большому счету в районе «Ломоносовской» не было ничего примечательного: дома в стиле сталинского ампира сменялись, по мере удаления от метро, хрущевскими пятиэтажками, а те в свою очередь уступали место общагам заводов и училищ. В ту сторону мы не ходили, равно как игнорировали и перекинутый через Неву мост со столь бешеным движением, что даже на набережной приходилось кричать. Наши предпочтения определились сразу — два парка, расположенные примерно на одинаковом расстоянии от места наших встреч. «Налево пойдешь — в парк Бабушкина попадешь, направо пойдешь — Куракину дачу найдешь», — шутила ты, после чего ради забавы мы иногда бросали монетку, определяя, какое направление выбрать.

Парк имени Бабушкина был в советское время образцовым местом отдыха для трудящихся. Правда, с тех пор парк пришел в полное запустение: неработающие аттракционы, сломанные горки, вырванные из земли качели; металлическая вывеска над входом и та заржавела, погнулась, растеряла половину своих букв. Зато тут было безлюдно, тихо, и нам никто не мешал.

Мы выбирали скамейку получше среди тех остовов, что служили лишь напоминанием об ушедшей в прошлое эпохе. Самый томительный для меня момент наступал тогда, когда ты неспешно доставала из сумочки пачку «Winston», зажигалку, прикуривала, как будто целуясь со своей супертонкой сигаретой. Мне сразу хотелось быть на ее месте, но ты с едва слышным «чмок» вынимала сигарету изо рта и так же неспешно произносила, одновременно выпуская в воздух ментоловую завесу: «Не торопись». Я, только привыкающий тогда к курению, тоже вытаскивал пачку, поворачиваясь к тебе боком, чтобы не выдать себя дрожащими руками.

Рассеивался табачный дым, а может быть, еще висел над нами, скрывая от небес отнюдь не безгрешные поцелуи. Помню лишь ощущения губ, рук, твоего тела, и сладостную немоту, и желание бесконечно длить это состояние, когда исчезают искаленные карусели, исчезает весь парк, земли, воды, небесные дали и, кроме нас, никого не остается. «Адам и Ева», — шептал я, еще нездешний, еще в бреду, и ты смотрела на меня безумными глазами — оттуда, где мы только что побывали. Потом мы опять курили, словно только посредством сигарет можно было сначала улететь, а после вернуться на ту же самую скамейку.

Парк со старушечьим названием и сгнившими зубами (так мне виделась вывеска с чередованием целых и потерянных букв) настолько не вязался с бурлившими здесь страстями, что однажды я поделился этим соображением с тобою, не услышав, правда, ни слова в ответ. Вообще, в такие минуты ты была молчалива, и, когда я начинал говорить о своих чувствах, ты останавливала меня всегда одним и тем же возражением: «Для чувств не нужны слова — разве ты не знаешь?»

Когда монета падала решкой вверх, это означало, что мы идем в парк «Куракина дача». Растянувшийся вдоль неевского берега, со старыми высокими деревьями вокруг заросших ряской прудов, с тропинками, которые то взбегали на небольшие холмики, то устремлялись вниз, парк всегда был заполнен людьми. Играли в волейбол, в карты, читали книги, пили вино, загорали и все вместе силились изобразить южный курорт посреди Петербурга. Выглядели их потуги нелепо, и ты высмеивала то одного перестаравшегося артиста, то другого. Они, очевидно, плохо представляли, как надо вести себя на юге, и оттого натягивали плавки до пупка, барахтались в прудах, где было по колено, и всячески демонстрировали свои мышцы, обтянутые безнадежно бледной кожей. Иногда, к своему удивлению, я жалел, что нет рядом кого-нибудь из нашей язвительной компании. Уж они-то устроили бы здесь цирковое представление!

В глубине парка находилась «Куракина дача», которая и дала название всей местности. Если не знать, где дача расположена, то найти ее, заброшенную, с провалившейся крышей, скрытую деревьями и диким кустарником, было весьма непросто.

Я рассказывал тебе об истории дачи, о роде Куракиных, среди которых были и военные, и дипломаты, и сенаторы, о том, каким было их имение и каким чудесным образом усадебное здание, пусть и перестроенное, и сильно обветшавшее, дошло до наших дней. Ты слушала, казалось, внимательно, но когда начинала говорить сама, то мне хотелось залепить твой рот поцелуем. Если вкратце, содержание твоих речей сводилось к попыткам обобщить опыт общения с мужчинами. Один был слишком гуманным, то есть мучил тебя беседами об искусстве; другой, как ты выразилась, пытался тебя сломать, подчинить свободолобивую натуру собственной воле, однако не на ту напал; а с третьим не получилось потому, что у него напрочь отсутствовало чувство юмора. Временами было любопытно, временами забавно. Но я ни разу не услышал слово «любовь», вместо него ты употребляла все что угодно: отношения, связь, флирт, союз, страсть и прочее. Нет, я не ревновал, ведь все связи и флирты были в прошлом, к тому же неудачные. Отталкивало лишь одно: какими бы ни были прошлые отношения, везде ты выставляла напоказ свои познания в делах амурных, подразумевая отсутствие таковых у меня, а зачастую прямо заявляя об этом. Сознательно или неосознанно, но тем самым ты подогревала меня в желании доказать, что не так я наивен и беспомощен, как ты о том думаешь.

Как-то раз, когда мы покидали Бабушкин парк и я по привычке оглянулся на его ржавую вывеску, ты неожиданно, словно бы про себя, проговорила: «Да, с тобой по-другому не получится». И дальше все тем же медлительным голосом ты сообщила мне дату, время, адрес, добавив, что подруга, та самая, у которой дача в Вырице, оставляет тебе ключ от квартиры на целый день. «Целый день», — повторил я с тем ощущением неминуемого грядущего, которое в одно и то же время и манит, и пугает.

4

«Ну, вот и все», — сказала ты так, будто поставила в разговоре точку, хотя если и были сказаны между нами слова, то столь отрывочные, ничтожные, что упоминать о них было попросту глупо.

Ты стояла лицом к окну, еще в нижнем белье, и я уже ревновал ко всякому прохожему, который мог, подняв голову, облизать похотливым взглядом твое прекрасное тело. Отныне ты принадлежала мне одному. Любого, кто усомнился бы в моих правах, ожидала участь отправленного в нокаут боксера.

«Пожалуйста, отойди от окна», — попросил я, на что ты рассмеялась, но все же отошла. Затем, подкрашивая губы и глаза возле зеркала, по-прежнему спиной ко мне, ты поставила еще одну точку, на этот раз, очевидно, во внутреннем монологе: «Из тебя будет толк». То ли оценила, то ли сказала в шутку, то ли решила подбодрить меня опять-таки с позиции сомнительных познаний... Я не находил ответа, а все же мне было приятно. И, одеваясь в широченной прихожей, где в самый раз было на велосипеде кататься, я насвистывал что-то бодрое, маршевое и все смотрел на висевшую напротив двери репродукцию рембрандтовской «Данаи», отдавая тебе явное предпочтение перед царской дочерью.

Нехорошие изменения начались уже при следующей встрече. Во-первых, сославшись на какую-то мелкую причину, ты попросила меня приехать к тебе в Веселый Поселок. Как растение прихотливое, любовь капризничает, когда ее пересаживают на другую почву, и мне совсем не хотелось расставаться с нашими скамейками, тропинками, с развалинами Куракиной дачи ради сомнительного будущего в незнакомом месте. А во-вторых, что гораздо важнее, с первых минут встречи я почувствовал возникшее между нами отчуждение. Было так, точно я пытался напомнить, какой радостью были наполнены наши дни, а ты всем своим видом показывала, что не желаешь

потакать моим выдумкам. Мы шли, вернее, ты вела меня, поскольку я очутился здесь впервые, мимо типовых панельных домов по улице, казавшейся бесконечной из-за того, что разговор наш совсем не клеился.

Наконец последние дома закончились, и сразу за ними вырос реденький лес, перед которым петляла речка Оккервиль. Она выглядела совершенно по-деревенски, с глинистыми берегами, поросшими кустарником, в строй которого вклинивалась то одинокая елка, то сосна. Вот под такую сосной мы и разместились на одном из бревен, положенных вокруг кострища. Мы то и дело соскальзывали по натертой до блеска поверхности дерева, так что в мыслях прекрасным видением возникали скамейки Бабушкина парка, хоть и сломанные, зато со спинками. Несмотря на теперешнее неудобство, мы сразу начали целоваться. Легким облачком витал возле тебя аромат ландышевых духов, смешиваясь с сосновыми и земляными запахами; от реки поднималась приятная прохлада; доносился со стороны леса пересвист невидимых отсюда пташек.

Целовались мы с упоением; как всегда, я куда-то улетал, однако даже в полете не отпускало тревожное: что-то идет не так, что-то разладилось...

Помню, Циркач, который по моему совету прочитал Бунина, резюмировал его творчество сжатой формулировкой: «Секс на природе». Похоже, и я увидел окружавший нас мир — лес, и речку, и уток у дальнего берега, и солнце, которое пробивалось к нам сквозь сосновые ветви, — то ли глазами Бунина, то ли Циркача и попытался, взяв тебя на руки, положить в зеленеющие травы великой русской литературы. Ты была решительно против, и в то же время мой порыв тебя позабавил: «Каким смелым ты стал, каким мужественным сделался», — впервые за сегодняшний день на твоём лице появилась улыбка. И потом, когда мы возвращались той же скучной улицей, хорошее настроение тебя не покидало. Ты расспрашивала, есть ли у меня какая-нибудь знакомая девушка, а я, смущаясь, отвечал, что иногда перезваниваюсь с Таней, школьной подругой, но это так, пустяки, воспоминания детства. Я не придавал никакого значения сказанному тобой мимоходом: «Если девочка хорошая, ты ее не бросай, звони чаще». И также мимоходом, не приглашая, не называя даты, ты обронила, что скоро твой день рождения. Я уточнил, можно ли прийти, и обещал быть, повторив несколько раз про себя: «Пятнадцатое июля, макушка лета».

Свернув на улицу, неотличимую от той, по которой все время шли, мы попрощались около твоей девятиэтажки — как-то торопливо, в спешке, будто на перроне вокзала, когда вот-вот должен тронуться увозящий тебя поезд. Назад я отправился пешком, решив дойти до Володарского моста, который соединял Веселый Поселок с левым невским берегом и возле которого, только с противоположной стороны, мы с тобой обыкновенно встречались.

Вопреки своему названию, правобережье не казалось мне веселым. Однообразный, без единой яркой краски, с серыми и грязно-желтыми фасадами домов, район виделся мне средоточием людской печали. Среди нарезанных, подобно границам африканских стран, прямых улиц, сплошь носивших имена деятелей большевизма, я вряд ли мог представить себе хотя бы одного счастливого жителя. Центральной магистралью Веселого Поселка был, конечно же, проспект Большевиков. Я шел по его широкому тротуару, думая разом об Антонове-Овсенко, Дыбенко, Чудновском и твоём дне рождения.

Есть у меня одно свойство: когда от дурных предчувствий и бьющих под дых обстоятельств мой мир, казалось бы, должен рухнуть на дно пропасти, где лишь тоска и отчаяние, — я остаюсь спокоен до последнего момента, пока действительно не обнаруживаю себя на дне той самой пропасти. Не знаю, к хорошему или плохому отнести эту

черту характера... А только стоило мне перейти мост и очутиться напротив «Ломоносовской», как неприятный осадок от нашей встречи исчез полностью и весь строй моих чувств был уже готов сыграть радостную симфонию в честь бушующего кругом летнего дня.

Первым делом я направился в антикварную лавку к Марку Борисовичу. Уже давно я рассмотрел для тебя подарок — шарманку, изготовленную, как сообщала выгравированная на металлической пластине надпись, на Санкт-Петербургской фабрике музыкальных инструментов в 1908 году. И тогда же я стал откладывать деньги, для начала продав проигрыватель с набором раритетных виниловых пластинок. Шарманка была компактная, играла с дюжину мелодий и стоила на удивление дешево. К тому же милейший Марк Борисович в знак наших добрых отношений был готов несколько уступить в цене, если я соберусь покупать. Со свойственной его нации ироничной мудростью он сказал: «Вы, молодой человек, очень похожи на меня, каким я был в молодости. А какой резон экономить на самом себе?»

Пятнадцатого июля, присовокупив к шарманке цветы с тортом и таким образом нагружившись под завязку, я с трудом преодолел разделявшие нас километры городских улиц и поднялся к тебе на девятый этаж. «Как это мило», — сказала ты, приняв подарки, и тут же поинтересовалась, почему именно шарманка. К вопросу я подготовился, но, по своей неисправимой привычке, начал настолько издали — со дня основания музыкальной фабрики, — что дослушивать меня не стали.

Торжественная церемония — именинница впереди, я следом с шарманкой, играющей «Боже, царя храни!», — была первым и последним моментом праздника, когда я, да и то благодаря шарманке, привлек внимание гостей. Мне вовсе не хотелось, чтобы на меня слетались любящие взгляды, однако же и полное забвение казалось мне оскорбительным. Сначала я подумал, уж не напиться ли в знак протеста. От этой мысли пришлось отказаться как ввиду малого количества вина, так и потому, что, выпив, бываю навязчив, а то и агрессивен. И я затаих, надежно скрытый от остальных своим одиночеством. Тут были твои родители, крутого замеса отец и незапомнившаяся мама, сестра то ли с женихом, то ли с мужем и две подруги, обе худенькие, невысокие; отличие между ними проявлялось главным образом в том, какие они извлекали звуки — одна брала высокие ноты, тогда как в другой, вопреки ее комплекции, обитал такой силы и чистоты голос, что, когда она запела под гитару, впору было продавать билеты на ее концерт.

Из всего праздника, вообще-то небогатого на события, мне запомнилось, как усадили на стул то ли жениха, то ли мужа, повязали вокруг его шеи белое полотенце и в две руки, ты и сестра, застрекотали ножницами. По мере того как довольно длинные каштанового цвета волосы делались короче, его лицо приобретало все более растерянный вид. А уж когда вам взбрело в голову нарисовать фломастером черные усы и бородку, бедняга и вовсе не знал куда деваться, хоть и старался шутить, и изображал одними уголками губ подобие улыбки. Его жалкие потуги выглядеть непринужденно навели меня на мысль, что такова, должно быть, участь всех мужчин, желающих попасть или уже попавших в состав столь дружного семейства.

Собственно, мне больше нечего добавить к сказанному, поскольку весь вечер я наблюдал преимущественно за тобою. Обычно ты предпочитала спортивный стиль, который называла «джинсово-футболочным», и носила обувь без каблуков, будучи почти одного со мною роста. В свой день рождения ты догнала меня, надев изящные туфли-лодочки, цвет которых обдуманно совпадал с цветом темно-синего платья, чья длина столь же обдуманно показывала стройность твоих ног. Никогда я не видел тебя в таком блеске красоты и никогда так не тянулся к тебе, при этом отчетливо понимая: я зря пришел, я здесь лишний.

5

У меня не было никаких желаний, я почти не ел, не мог спать, а только лежал навзничь, закинув руки за голову и глядя на плывущий надо мною потолок. Как я вычитал в одной бульварной газетенке, это классическая поза человека, решившего свести счеты с жизнью, причем чем более неподвижно он лежит, тем вернее решится.

Мысли текли вяло, тем не менее выстраивались в один ряд: наша встреча на квартире у твоей подруги, затем и сразу же твое охлаждение ко мне, непонятные слова, впрочем, теперь уже понятные, о том, чтобы я не забывал знакомых девушек, и финалом всему твой день рождения, где я мучился от любви и где ты дала мне ясно понять, что если что-то между нами и было, то всего лишь отношения, флирт, связь...

Сопоставив между собой все вышеизложенные факты, я оторвал голову от подушки, огляделся по сторонам и узнал в обстановке комнаты то самое дно пропасти, куда несколько раз уже приходилось падать, правда, причины были совсем иного свойства. Помню, в детстве, когда мы только переехали на новую квартиру, я лежал здесь же и дня три никак не мог унять слезы, потому что в суете переезда пропала коробка с коллекцией солдатиков, которых собирал с одержимостью будущего полковника. Другой раз, уже в боксерской секции...

Зазвонивший твоим звонком телефон не помешал воспоминанию догнать тот миг, когда, прижатый к канату ринга, я стою под градом ударов и хоть и говорю в трубку «алле», а все-таки падаю на помост, на чем воспоминание и обрывается, ибо, будучи в нокауте, невозможно сохранять память.

Я был уверен, что ты мне не позвонишь, что ты избавилась от меня как от надоевшей игрушки, а сам я позвонить не мог, ведь дно пропасти вне зоны досягаемости для любого сигнала, за исключением, быть может, сигнала «sos». И вот я слышал уже не чайный, но по-прежнему желанный голос, и ничего во мне не происходило, будто я на самом деле побывал в нокауте, и, едва придя в себя, после того, как рефери сосчитал до десяти, был в состоянии произносить только «да» — без эмоций, через равные промежутки времени. Мое «да», словно оружие в руках новобранца, стреляло по твоим словам наугад, но так как это было «да», я, очевидно, почти всегда попадал в цель.

«Тогда договорились, завтра в три у Фукса», — закончила ты разговор, и я уловил эту фразу не столько потому, что она была последней, сколько из-за проникшей в ее состав фамилии потомка немецких купцов. Так бывает при амнезии: гораздо лучше, чем сегодняшней день, помнишь то, что было много раньше. Наши отношения, если тебе угодно так выразиться, продолжались месяца полтора, вряд ли больше, хотя мне казалось, что прошла целая вечность. И как же далеко позади остались все эти Фуксы и Рюриковичи! Их имен мы не упоминали, не звонили им, не встречались. И вдруг ты предлагаешь ехать в их логово! Только ради тебя, только потому, что хотел тебя увидеть... Нет, вру, я жаждал другого. К черту все умозаключения, которыми я изводил себя, лежа на диване! Просто тебе была нужна пауза, и теперь ты снова со мною, снова моя. И какая разница, где встречаться — в Бабушкином парке, Веселом Поселке или у Фуксов, — главное, чтоб ты была рядом.

Я поджидал тебя на углу дома на Кутузовской набережной и еще издали увидел: в черных брюках и коротком серого цвета пиджаке ты спешишь, ты торопишься, ты почти переходишь на бег. По мере того как твое лицо приближалось, на нем расцвела улыбка. Мы поцеловались, как прежде, в губы, с тем чувством, какое бывает после разлуки. Я прижал тебя всю, ощущая грудь, бедра, запах твоих волос, и даже, не знаю зачем, немного потряс тебя за плечи. Ты взяла меня под руку, и мы зашагали, на ходу бросая слова, восклицания, горсти смеха, опять слова.

«Только без ора», — по обыкновению, предупредил Савелий Фукс. Он доставал из буфета вино, бокалы, какую-то снедь и косился на нас, болтающих без умолку. От этой болтовни, от вина ты раскраснелась и с хохотом пересела со стула ко мне на диван. Мы снова целовались, и я краем глаза видел, с каким раздраженным видом продолжает посматривать в нашу сторону Савелий. Когда же ты уселась мне на колени, он вышел из комнаты. Спустя некоторое время вернулся и с порога резким тоном заявил: «Дорогие мои, сегодня приезжает моя мама», что в переводе с дипломатического языка означало — пора бы вам на выход.

На невском ветру, который обдувал нас со всех сторон, ты сказала, все так же посмеиваясь, что провожать не нужно, поскольку ты едешь к подруге. Потеря часа дорожных разговоров (сколько их ждет впереди — часов, дней, месяцев!) выглядела сущей ерундой в сравнении с тем, что ты вытащила меня со дна пропасти. «Как шарманка?» — спросил я, и принесенный ветром ответ, ибо ты уже удалялась, заставил меня крикнуть: «Я приеду почино!»

Прямо чем я успел выйти из метро, меня догнал звонок Савелия Фукса. Гневным голосом, какого мне прежде не доводилось от него слышать, он принял меня отчитывать. У него не дом свиданий, чтобы я приводил своих любовниц, у него, если угодно, родовое гнездо, осквернять которое никому, прежде всего таким пошлым людишкам, как я, не позволено, и с сегодняшнего дня двери его квартиры закрыты для меня навсегда... Господи, чего только Фукс не наговорил! Я слушал в смиренном молчании, ведь, по существу, он был прав: мы вели себя непристойно. Оправдаться можно было лишь тем, что разница между берегом речки Оккервиль и родовым гнездом, существенная при других обстоятельствах, для влюбленных не имеет никакого значения. Но об этом я не стал говорить Фуксу.

Прошло несколько дней, абсолютно пустых, потому что как же иначе их назовешь, если мы с тобой не виделись. Ты снова перестала отвечать на звонки, лишь однажды сняла трубку домашнего телефона, чтобы сообщить: «Извини, я занята. Позвони позже». Уже тогда мне подумалось, что никакого «позже» не будет, что я стучусь в закрытые двери. Оставалось единственное: добиться объяснений при встрече в надежде на то, что, глядя в глаза собеседнику, очень сложно уйти от прямого ответа. А вопрос, который буквально разрывал мою душу, звучал предельно просто: что же случилось?! Я был уверен, что меня оклеветали, по-видимому, все тот же Савелий Фукс, и его ложь должна мгновенно развеяться, стоит нам остаться наедине.

Раз от дома Фуков меня отлучили, значит, увидеться, вероятнее всего, можно в «штаб-квартире». Столь очевидное предположение тем не менее оказалось ошибочным: на дверях чебуречной висела напечатанная крупным шрифтом вывеска, что заведение закрыто по техническим причинам; пониже от руки были написаны даты, и я долго в них вглядывался, стараясь понять неразборчивый почерк. У меня вдруг возникла очень странная мысль: перемена в тебе тоже вызвана техническими причинами, о которых, как и в случае с чебуречной, можно было лишь догадываться. Вот я и начал перебирать в уме догадку за догадкой, праздно сидящий напротив чебуречной молодой человек, чье единственное желание — увидеть любимую — откладывалось, по меньшей мере, на десять дней (если мне все-таки удалось разобраться в каракулях «чебуречного начальства»). Таким, наверное, я и предстал перед Врубелем, который вывел меня из задумчивости, присев рядом на скамейку. «Вы, кажется, здесь по той же причине, что и я», — начал он в своей излюбленной манере, обращаясь ко всем, даже к самым близким, исключительно на «вы». Собеседнику, плохо знавшему Врубеля, это казалось верхом воспитанности, а на самом деле было всего лишь хитрой игрой, которая доставляла одному ему понятное удовольствие.

То, что он подошел ко мне, меня несколько не удивило, хотя должно было бы удивить, ведь при последних встречах мы лишь холодно кивали друг другу. Вероятно,

его склонность к сплетням была сильнее его нелюбви и, как я чувствовал, его страха передо мною. Кто, с кем, почему и как — все это интересовало Врубеля в высшей степени. Он поведал мне о том, что Фукс и Любовь с Первого Взгляда теперь вместе, более того, она у него живет. Новость для Врубеля, да и для всей компании, просто сенсационная. Кто бы мог подумать! Наш эстет, наш сноб Фукс — и вдруг эта, как он выразился, неадекватная. «Не желаете узнать подробности?» — поинтересовался Врубель, на что я молча кивнул в сторону закрытых дверей «штаб-квартиры». Он подвел меня туда и с тонкой улыбкой показал на не замеченный мною листок бумаги, что был приклеен к дверному косяку. Там было написано: «Дамы и господа, судари и сударыни! В связи с закрытием данного заведения „штаб-квартира“ временно перебазирована на мою квартиру. Любящий всех вас Рюрикович».

В троллейбусе, который вез нас на «Маяковскую», сидело всего несколько человек, тем отчетливее было наше молчание. Врубель, наверно, вспоминал, каким жалким образом трепыхался в моих руках, и старался не глядеть в мою сторону. Я же был занят мыслями о том, как треугольник с острыми любовными углами (ты, я и Фукс — именно такой представлялась мне конфигурация) начинает превращаться в квадрат, где каждый из углов находится в непонятных отношениях с другими.

Знакомая мне комната Рюриковича выглядела теперь значительно просторнее, должно быть, большую часть вещей перенесли в соседнее помещение, где обитал прокурор района. Косвенно это подтвердил сам хозяин: «Отец на две недели уехал. Какой-то юридический форум в Берлине». Возбужденный и говорливый, ходил Рюрикович по квартире, прислушиваясь ко всему вокруг, чтобы вернуть шуточку или изобразить подобие улыбки. Иногда кричал, добиваясь интонацией поразительного эффекта, когда несмешное превращается в смешное: «Машка, гости заждались! Машка, кому говорю!» Подыгрывая, Госпожа Фабула, которая только в обществе была таковой, а дома Рюрикович звал ее по имени, всплескивала руками и неслась на кухню. Оттуда раздавалось: «Ой, пригорело! Ой, батюшки!»

В центре комнаты, поскольку общего стола не было, а все приготовленное Госпожой Фабулой равномерно распределялось по столикам, тумбочкам, подоконникам, Циркач жонглировал шариками для настольного тенниса, пока они не исчезали и не появлялись вновь то из-за его уха, то изо рта, то из кармана жилетки. Прекрасная Незнакомка, пересыпая речь солеными да острыми матерными словечками, рассказывала о выставке современного искусства Дон Кихоту, пожалуй лучшему в компании слушателю, который только и делал, что успевал кивать своей ухоженной эспаньолкой. Маэстро Вальс, к танцам никакого отношения не имевший, зато всегда точно угадывающий момент, когда к ним можно приступать, что и отразилось в его прозвище, теперь был занят курением марихуаны, выпуская дым в открытое окно и туда же общая: «О, мир, ты — кайф! Ты — мирокайф! Ты — мегакайф!» Здесь же была и Любовь с Первого Взгляда, как обычно, тихая, что-то шептавшая в углу (вот только в каком? — возник во мне вопрос из той геометрической задачки, которую я пытался решить в троллейбусе). «Молитесь», — сообщил мне пробежавший мимо Рюрикович и поднял глаза вверх, куда был обращен и ее взор. Там стояла на полочке миниатюрная икона Спасителя.

В нашей компании Любовь с Первого Взгляда отвечала за связь с потусторонним миром. Уже никто в точности не помнил, как она прибилась к нам, и в памяти осталась только сказанная Фуком фраза: «Мы все чересчур прагматичны. Нет у нас людей естественных — и вот она, юродивая!» Так, юродивой, ее сначала и называли, пока не услышали ее пламенную речь, где привычное «Бог есть любовь» приобретало новое звучание. Оказывается, она была готова отдавать любовь каждому, кто в ней нуждался, в ком с первого взгляда она угадывала эту нужду. Ей было все равно, любовь ли это к ребенку, старику, мужчине, святая или плотская, вернее, подобных различий

она вовсе не замечала. Если добавить к этому, что она была красива той светящейся изнутри красотой, которую могут передавать одни лишь иконописцы, что ее голос звучал тихо и мелодично, что имя ее было Любовь, — тогда образ молящейся перед иконой девушки можно считать завершенным. Однако правда и то, что душа ее была больна, и временами она начинала бормотать безумные слова, а глаза ее остановились на чем-то далеком и, судя по всему, ужасном. Для меня было загадкой, как мог расчетливый Савелий — а сплетни Врубеля почти всегда находили подтверждение, — как мог он жить с *такой* девушкой...

Когда она закончила молиться, я задал всего один вопрос, и она ответила без малейшей рисовки: «Мне нечего делать с теми, кто праведен», — и затем, подняв глаза, смотрящие на меня, а все-таки сквозь меня, она сказала: «Савелий занемог. Он попросил, чтобы я пришла. Разве я могу послушаться?» У меня на глазах навернулись слезы, и, ни с кем не попрощавшись, я быстро вышел на улицу.

6

Что можно сделать за десять дней, пока устраняются «технические причины»? Открыть вместо чебуречной подпольное казино, клуб анонимных алкоголиков, религиозную секту, тренажерный зал... Упражнения в остроумии могли бы продолжаться сколь угодно долго, если бы не Циркач, который обзвонил всех с радостной вестью — открылось!

Если кто-то ожидал изменений, он сильно ошибался: то же пиво, чебуреки, те же остроты и колкости, разве что Фукс и Любовь с Первого Взгляда перестали сюда ходить. Об этом говорили намеками, шептались по углам, иногда кто-нибудь отпускал сальную шуточку. Смеялись, однако, сдержанно, потому что, думаю, зачастую их цинизм был показным, особенно когда собирались все вместе и каждому хотелось блеснуть перед другими.

Происходящее меня не касалось. Заглядывая в «штаб-квартиру» и здороваясь разом со всеми, я тут же начинал искать глазами тебя, и если не находил, то сразу направлялся к выходу. Смешки, которые раздавались вслед, были мне глубоко безразличны.

Ты приходила редко, по крайней мере, мы редко пересекались. В один из таких дней, спустя недели две после открытия чебуречной, мне удалось отвести тебя в сторонку, — и я услышал: «Ты разве не помнишь, что я говорила про твою девушку — Таню, что ли?.. Ну, раз ты не понимаешь намеков, скажу прямо: мы с тобой встречаться больше не будем. И не задавай, пожалуйста, лишних вопросов». Но я все-таки задал, а ты ответила со смехом: «Ах, это была месть, чтобы он тоже помучился... Извини, извини, дорогой», — ты поцеловала меня в щеку и полетела к столу, тут же позабыв обо мне, веселая, озорная, красивая. И я почувствовал: я все так же люблю тебя, хоть теперь и безнадежно, но от этой безнадежности только еще острее.

У меня начинали трястись руки, в ногах появлялась слабость всякий раз, когда я тебя видел. Мне было очень больно. Но я продолжал изводить себя, потому что важнее боли было желание хотя бы время от времени находиться с тобой в одном месте. Я сидел всегда вдалеке от тебя, ближе просто не мог, иначе сердце начинало колотиться так, что казалось, будто его стук слышат ближайшие соседи. Тебе же доставляло удовольствие, если ты не была занята разговором, подходить ко мне и дразнить шутливым голоском, нарочитым смехом. Иногда ты интересовалась, как мои дела, но лишь для того, чтобы увидеть, как я, онемевший, пробовал ворочать тяжеленными, невозможными словами.

Наблюдая за тобой с безопасного расстояния, я не задумывался, для чего это делаю. Только через некоторое время я поймал себя на противоречии: с одной сторо-

ны, мне хотелось собрать наиболее полную коллекцию твоих недостатков и тем самым избавиться от разрушающей меня зависимости; с другой стороны, я жил иллюзией, что если мы будем хоть изредка появляться друг перед другом, со временем у нас получится вернуться в те счастливые дни, когда, помнится, прошептал мне на ухо Марк Борисович: «Ах, какая вы пара!» Вдобавок за каждую возможность увидеть тебя я цеплялся, как за куст или дерево на склоне разверстой передо мною пропасти; ее темная сила и ее глубина были не сравнимы ни с чем, что я знал доньше. И хотя предчувствие подсказывало, что избежать падения не удастся, я пытался, насколько возможно, отдалить его срок.

О твоём последнем появлении в «штаб-квартире» я узнал с чужих слов (вероятно, ты приходила туда не один раз, так же как приходил и я, но, понятное дело, графики наших посещений мы не согласовывали). Ты вошла в чебуречную, впрорхнув прямо из вечеряющего дня, уже не теплого, уже с крепким по-осеннему воздухом, когда лишь самые упрямые не спешат расставаться с летними одеждами. Усевшись за стол, ты заявила: «Можете меня поздравить, наконец-то я нашла того, кого искала». И так как поздравлений не последовало, ты сделалась неприятно многословной, описывая, какими возможностями, главным образом мужскими и финансовыми, обладает твой избранник. Конечно, это была ошибка: по неписаным правилам запрещалось обсуждать происходившее вне компании. На одной ошибке ты не остановилась, пустившись в объяснения, почему теперь не сможешь приходить в «штаб-квартиру». «Но это только первое время, — закончила ты, — вы же понимаете меня, девочки?» Те понимать отказывались, а прямодушная Прекрасная Незнакомка рубанула с плеча: «На фига ты устраиваешь здесь спектакль? Решила свалить, так сваливай без соплей. Удерживать не будем». Твое обращение к мужской части собравшихся оказалось столь же безуспешным. С их точки зрения, уход из компании был равносильен предательству, и если Фукса и Любовь с Первого Взгляда они все-таки простили, поскольку оба были свои, то твой поступок не подлежал прощению.

Рюрикович заказал двойную порцию пива, хотя и обычная его норма была в компании рекордной. Закурил марихуану Маэстро Вальс, что всегда служило признаком невозможности преодолеть внутренние противоречия и тревогу. Погрузилась в сосредоточенное молчание Госпожа Фабула, по-видимому, размышляя, как бы пристроить подвернувшийся сюжет для очередной миниатюры.

Это все рассказала мне Прекрасная Незнакомка, когда мы столкнулись в Русском музее — она спускалась по винтовой лестнице, я же собирался подниматься, — а после пошли в чебуречную. Мы сидели там вдвоем, и было странное ощущение от звенящей тишины, от пустоты пространства, хотя кругом было полно народу. Она пила пиво, похрустывала сухой корочкой чебурека, и я верил каждому ее слову, потому что кому как не ей легко было обозревать в обе стороны, понимая как мужчин, так и женщин и вечно находясь где-то посередине.

Оказывается, ты была коллекционером (мне сразу вспомнилась потерянная коробка с солдатиками), ты коллекционировала мужчин. В их список, который вряд ли существовал в действительности, зато в твоей памяти наверняка занимал важнейшее место, ты вносила только тех, с кем дело дошло до постели. Иные не вызывали у тебя ни малейшего интереса. В стремлении постоянно пополнять список тебя было упрекать так же глупо, как фалериста или нумизмата, если, разумеется, забыть о том, что те собирали ордена и монеты, тогда как ты гонялась за живыми душами. Инстинкт хищницы уживался в тебе с основным женским инстинктом, а именно с желанием выйти замуж. Одно даже помогало другому, ибо на пути исканий невозможно обойтись без эксперимента. Как добросовестный исследователь, обобщив весь массив данных, ты пришла к выводу, что более всего тебе подходит Фукс. И быть бы вскоре свадьбе, —

потому что такие, как ты, потратив очень много сил на подготовительную работу, никогда не отступают, — если бы у Савелия, как ты решила, не поехала крыша, в результате чего он предпочел тебе, красивой и яркой, нечто прямо противоположное — невзрачное, забытое, вечно ищущее крест или икону, чтобы помолиться. Впрочем, горевала ты недолго, судя по весьма небольшому сроку между расставанием с Фуксом и тем днем, когда ты произнесла: «Можете меня поздравить!»

Когда Прекрасная Незнакомка ушла, я остался наедине с широким блюдом, где, распластавшись, лежал чебурек, надкушенный с одного угла. Пива я не заказывал, зная наперед, что облегчения от этого не будет, в лучшем случае навалится тяжелейший сон, а вместе с пробуждением к боли душевной добавится еще и телесная. А может, чем больше боли в начале, тем скорее она пройдет?.. Или не пройдет, что в равной степени вероятно, или только усилится и станет, как знать, неизлечимой болезнью...

То, что последние фразы я произносил вслух, сообщил мне подсевший за стол Циркач: «Ты чего сам с собой-то? Что-нибудь случилось?» Его обыкновенно веселое лицо выглядело озабоченным и вместе с тем печальным. Делая в паузах крупные глотки из пивной кружки, он говорил мне о том, что устроился в цирк чернорабочим, что по вечерам уже холодно, что, похоже, наша компания распадается и некролог на ее смерть напишут Рюрикович с Госпожой Фабулой, чья скорая свадьба уже ни для кого не была секретом.

Потом мы шли с Циркачом к метро вдоль широкой кленовой аллеи. После выпитого он стал разговорчив и без устали восхищался то багряным закатом, то свежестью воздуха, то тем, как деревья меняют свой цвет. И все время слышалось: природа, природа... «Секс на природе», — вспомнилось мне если не к месту, то ко времени. Циркач тут же подхватил, заявив, что наконец-то «врубился в Бунина», после того как прочитал «Митину любовь». Лучше бы он этого не говорил! Даже когда мы расстались, в моей голове продолжало крутиться невольно запущенное Циркачом колесо воспоминаний...

Я видел себя подростком, читающим томик Бунина, чувствовал, как подкатывает к горлу комок от невозможности помочь Мите, стоящему на краю гибели, и помнил всякий оттенок его мучительной любви, а главное, помнил, как в конце повести он достал из ящика ночного столика револьвер, затем, «глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил». Да, я помнил все, а эту финальную фразу даже выучил наизусть, но откуда в те юные годы мне было знать, что история Мити станет и моей историей (разве что предположить, исходя из жуликоватой теории, доказывающей, будто люди с одинаковыми именами имеют и схожие судьбы). Если раньше я смотрел на Митю словно бы издалека и определенно снизу вверх, то сейчас мы были на равных, и вопрос, на который он ответил одним выстрелом, вставал передо мною в своей жуткой простоте и неотвратимости.

7

Уже много лет, как я женат, счастлив (насколько это вообще возможно для человеческого существа, приговоренного к пожизненному сроку с наказанием пытками). Казалось бы, зачем, пусть и в воспоминаниях, возвращаться туда, где был не любим и до такой степени одинок, что даже не мог представить обстоятельств, при которых появился бы рядом со мною друг или хотя бы близкий товарищ? Что на это ответить... Порой помнишь незначительное — будь то трухлявое дерево где-нибудь на болоте или оброненную в пустячном разговоре фразу, — помнишь гораздо лучше, чем казавшееся чрезвычайно важным до тех пор, пока течением лет не отнесло его в самый хвост выстроившихся по ранжиру событий.

Не скажу, что, вспоминая нашу тогдашнюю компанию, мне пришлось очень далеко возвращаться, однако и короткий мой путь не назовешь. Память, моя вечная спутница, не изменявшая мне ни разу, оживила затертые временем места, разбитые, словно на античной скульптуре, лица, вернула былой облик домам, аллеям, скверам. И зашагали и заговорили там и сям — наивные и дерзкие, ироничные и злые. Я не хочу вас видеть, потому что любые поправки исказят сохраненные памятью образы, но я хочу знать — где вы?..

Мы нашли друг друга в социальных сетях, так нынче принято. Скука, желание вновь почувствовать себя молодыми и даже вернуть ушедшее безвозвратно — что только не движет теми, кто барахтается, как рыба, в сетях, будучи не в состоянии понять, что улов вытаскивают отнюдь не галилейские рыбаки. Любопытство и ничего более заставило и меня посмотреть, как выглядит теперь генералитет, заседавший прежде в «штаб-квартире». Одних было не узнать, другие изменились мало, а третьи, хоть и вполне узнаваемые, все-таки больше всего напоминали пародию на самих себя.

После семи лет совместной жизни Рюрикович и Госпожа Фабула, якобы из-за его измен, развелись, и он теперь работал в юридической конторе, куда, очевидно, его пристроил отец, а она была редактором в издательстве. Другой брак сохранился, надо полагать, благодаря скрепляющему действию церковных уз, так что Фукс с некоторых пор возглавлял союз православных активистов, куда, само собою, входила и Любовь с Первого Взгляда. Одинокая, что, видимо, было написано на роду, Прекрасная Незнакомка работала в Русском музее, и на ее экскурсии, говорят, люди записывались на месяц вперед. Несмотря на все неудачи предыдущих попыток, которые сломали бы кого угодно, но только не его, Циркач продолжал мечтать о цирке, перебиваясь случайными заработками. Слишком чувствительный к мелким неприятностям, Маэстро Вальс, судя по всему, катился по наклонной плоскости в обществе наркоманов и пьяниц, чья тонкая душевная конструкция, точь-в-точь как у него, не выдерживала испытания социумом. Преподавал в университете Врубель и писал диссертацию, которая обещала надеть шума в ученом сообществе. Жена Дон Кихота нарожала ему четырех детей, все «дон кихотики», так что было непонятно, чем, кроме семьи, он занимается.

Не скрою, больше всего меня интересовало, кем стала ты, каким видишь наше общее прошлое. Увы, тебя, единственной, в соцсетях не оказалось. Из переписки с друзьями я узнал, что ты трижды выходила замуж и всякий раз мужья были из состоятельных. На этом достоверная информация исчерпывалась, остальное относилось к рубрике «по слухам». Кто-то утверждал, что ты уехала с немцем в Германию, кто-то — что в Южную Америку, только без немца. Были и более патриотические варианты: ты открыла собственную парикмахерскую, у тебя доля в «ювелирке», как выразилась Госпожа Фабула.

Мне было жаль. Я собирался написать тебе о том, что произошло в тот погожий осенний день, который, сложись обстоятельства иначе, должен был стать моим последним днем. А потом решил: зачем терзать твои чувства, дергать за веревочки, концы которых давным-давно обвисли? Живи безмятежно, моя первая любовь!

Каким бы странным это ни казалось, я был благодарен тебе за твою жестокость, за твой обман, за насмешки, за то, наконец, что не знал твоего теперешнего адреса, куда бы мог сгоряча написать. Говорю — сгоряча, поскольку ни секунды не сомневаюсь, что будь ты в Германии, Южной Америке или подсчитывая доходы за директорским столом в парикмахерской, письмо вызвало бы у тебя лишь беглый интерес, когда прочитано и тут же забыто. Хотя допускаю и даже слышу твой игривый голос, обращенный к очередному мужчине со средствами: «Здесь такое забавное, из прошлого!.. Вот

почитай, особенно это место», — после чего вы, двое знающих правила жизни людей, смеетесь над наивностью того, кто не знает. Точно так же смеялась ты вместе с другим мужчиной, хотя, по сути, всегда одним и тем же — много лет назад, среди вещей, собранных из разных времен и концов света...

После того как мы простились с Циркачом, ноги сами собой привели меня к метро «Ломоносовская». Где как не здесь, шептал я, где как не здесь. Вдали выростал Володарский мост, соединявший «наш» берег с «твоим». Мысленно я уже был там, чувствовал огромную высоту между краем моста и текущей внизу холодной невской водою.

Едва я пересек улицу и оказался перед чередой магазинчиков и лавок, как меня окликнули. Не обращая внимания, я двигался к своей цели, пока кто-то не тронул меня за плечо, — и, оглянувшись, я узнал Марка Борисовича. «Вышел на улицу покурить, — сообщил он, — а тут вы идете». Он увлек меня за собой, на ходу о чем-то рассказывая своим «антикварным» голосом. Мне было все равно: какая-то дурацкая пауза, Марк Борисович, почему, зачем...

«...И ваша девушка снова сдала ее. С нею был какой-то мужчина, они много смеялись», — закончил он фразу, начало которой ускользнуло от меня. Во все глаза я смотрел на полку над прилавком, и медленно, очень медленно до меня доходил смысл сказанных антикваром слов. Собственно, слова были не так важны, потому что я видел шарманку, стоявшую на прежнем месте, только поменявшую соседа: медный самовар вытеснила чаша с огромными ручками. Видимо, в силу любви к антикварным предметам, а может, желая на свой лад сделать мне приятное, Марк Борисович запустил шарманку. Под звуки гимна Российской империи я думал о том, что вряд ли тебе понадобились деньги, скорее, это была одна из тех злых забав, когда есть зритель и есть тот, пускай и отсутствующий, чья очередь исполнять роль шута.

Как только музыка смолкла, я переспросил: «Смеялись?» — на что «догадливый» хозяин антикварной лавки заявил, что он полностью согласен со мною: нельзя издеваться над собственной историей, какой бы она ни была. Он хотел было встать за прилавок, но упал, споткнувшись о ступеньку лестницы, и с какой-то юношеской поспешностью вскочил, уронив при этом миниатюрный бронзовый подсвечник, поднимая который снова споткнулся и снова вскочил, а после, наверное с недоумением, смотрел на меня, когда, прикрыв рот руками, я все-таки не мог сдерживать рвущийся наружу смех; он не умещался во мне, настолько был огромен и вездесущ, и захватывал поочередно помещение лавки, улицу с ее пешеходами и транспортом, вестибюль метро, эскалатор...

Я ехал домой, по-прежнему качаясь на волнах смеха, с той лишь разницей, что теперь смех бился где-то внутри, непрерывно и мелко. До сих пор не могу понять, что его вызвало — то ли невпопад сказанное Марком Борисовичем, то ли его «чаплиниада», то ли так звучали натянутые до предела нервы, — только знаю одно: этот смех спас меня от гибели.

Когда прошло достаточно времени, чтобы при всяком взгляде назад душа уже не обжигалась, я начал размышлять, каким же смыслом наполнить пугающие своей пустотой дни и месяцы. Все, что бы я ни находил, даже в своей совокупности представлялось ничтожным, пока мне на ум внезапно не пришла мысль: что стало бы с бунинским Митей, переживи он свою первую любовь?

Я долго раздумывал, представляя Митю то помещиком, до конца своих дней живущим в уединении, то, напротив, окрепшим после случившегося человеком, возможно, весьма деятельным и счастливым, прежде чем заметил, что миновал месяц, и другой, и третий, а я жив и что собственной жизнью уже отвечаю на этот, казалось бы, сугубо литературный вопрос.